

Мне пожали руку, поблагодарили, а вечером — уволили.

Собеседник — 1991 — стр. 14-15 с 10

Я писал стихи и плакал.
Словно сам себя пытал.
То сажал себя я на кол,
То себя четвертовал.
Выдал все бумаге белой,
Не скрывая ничего,
И бумага не стерпела
Вдохновенья моего.
Говорит она: «Бедняга,
Надо мною зря не плачь.
Хорошо, что я бумага,
Ну а если бы стукать?
Чем себя стихами мучить,
Лучше нервы береги
И меня на всякий случай
Обязательно сожги».
Я сказал: «А я не плачу! —
И расправил смело грудь. —
И тебя, бумага, спрячу —
Хрен отыщет кто-нибудь!»
И в такой крошечной дали
Я зарыл бесценный труд,
Что пока не отыскали,
И боюсь, что не найдут.
1964.

Сейчас вроде бы наметился выход Львовского к читателю: книга прозы, подборки стихов...

Но как представлять Львовского — теряюсь. Чести он удостоился беспрецедентной: его «Глобус» с двадцатью народными куплетами, присочиненными в пятидесятые годы, попал в сборник советского фольклора, и ни одна студенческая поездка в те славные времена не обходилась без него. Он же написал «Вот солдаты идут» — еще на войне.

Про «Вагончик тронется» разговоры нет: еще до того как Рязанов включил эту песню в «Иронию судьбы», Высоцкий пел ее как чужую, но любимую на собственных концертах. Эти две песни знала вся страна, не подозревая об авторстве, — но ведь не как автора двух народных песен представлять Михаила Львовского? Хотя — не так мало...

«Жили пятеро поэтов в предвоенную весну, неизвестных, незапетых, сочинявших про войну». На самом деле в компании было их шестеро: Дезик

Кауфман, автор этого четверостишия, известный как Давид Самойлов. Павел Коган. Харьковчанин Борис Слуцкий и Михаил Кульчицкий. Ослепительно красивый Сергей Наровчатов. Язывительный краснодарец Михаил Львовский, которого Лиля Брик, покровитель и друг всей компании, числила среди талантливейших.

Львовский пришел в Литинститут из театрального. В студии Станиславского познакомился он с Сашей Гинзбургом, актером и поэтом, который представления не имел о том, что станет бардом и драматургом Александром Галичем.

Львовский дружил с Севой Багрицким, у которого мать была арестована, отец мертв, а старший брат бросился в лестничный пролет. Девушка Севы — Люся Боннэр часто приезжала из Ленинграда. Галич, Багрицкий и Львовский ходили в театральную студию Арбузова и сочиняли «Город на заре».

— А Галич был пижон и красавец — красавец до такой степени, что ему поручили самую отрицательную роль в «Городе на заре». Он играл троцкиста. Мы очень дружили — пьеса вообще заразная вещь, мы ведь начинали оба как поэты, а ушли в драматургию. Во время войны, правда, вышел некоторый сюрприз — моя первая любовь вышла замуж за Галича, но это отношений не испортило. Это та девушка, про которую были мои самые известные стихи — их многие в Москве знали: «В Третьяковской галерее есть картина — гуси проплывают в облаках. Где теперь ты ходишь, Валентина, на своих высоких каблучках? Как легли твои лукавые дорожки, так ли дни твои по-прежнему легки? О какие чертвы пороги ты свои стоптала каблучки?»

— А как вышло, что Галич стал писать песни?

— Пример Галича уникален. Талант не так прост, он и выпрямляет, и ломает человека, Галич собой уже не расправлялся. Начал он с самых простых иронических песенок, а потом дар раскрепостился, и когда я услышал первую, еще сравнительно невинную катушку его песен, — я поразился: «Это не Галич». У таланта своя логика, Галича словно распрямила внутренняя сила, и от него — человека достаточно мягкого — потребовалась воля, самоотречение, отвага, все, что угодно, — его вел талант. Он и к религии так пришел, в этом мы расходились — он стал ближе к Владимиру Максиму, а я — то атеист. Я и рад бы, но не могу заставить себя поверить, что после смерти душа куда-то вылетает. Я слишком много трупов видел, чтобы в это верить.

— В войну?
— И в войну, и после.
— И во что вы верите?
— Надо так полагать, что я верю в справедливость... В реализацию

каждым своего предназначения; в большинстве случаев это происходит... В талант, который обычно на стороне человечности независимо даже от личности автора... В иронию. ...Все думаю: да, окружение действительно превосходное — восторженные отзывы Антокольского, Брикот, Сельвинского, братское уважение Слуцкого, Самойлова, Когана, Окуджавы, дружба с Высоцким, — ну а что же само Львовский, в чем неповторимость его, в чем обаяние этой личности?

— ...Коган был комиссар. Все наши рано или поздно пришли — или пришли бы — к отказу от нашего тогдашнего принципа (а принцип был — «откровенный марксизм»). Мы видели культ и прекрасно его понимали, поэтому считали, что марксизм не надо приглаживать, — нам казалось, что вся беда в его искажении, заливаннии елеем и прочая. Так вот, мы все отошли от этого, кто раньше, кто позже, а вот отошел бы Коган или нет — я не знаю. Он был очень талантлив, но резок и тверд — и однажды в споре о моих стихах даже назвал меня «ироническим зайцем». Я существовал, надо сказать, абсолютно вне политики. Я был политически неграмотен. Слуцкий, например, свою комиссарскую кожанку всю жизнь от себя отдирает с кровью, по выражению драматурга Исаия Кузнецова. А я никогда не был в лидерах, писал ироническую лирику, а этого почти никто не делал тогда. Кроме Глазкова.

— Видите, вы разрабатывали собственное направление, вас вся Москва знала, вас печатали, почему вы отошли от поэзии?

— Я не отходил, просто бросил печататься, потому что врать почему-то не хотел, а остальное у меня не публиковали... И потом — я пытался остаться собой, по-моему, и в прозе, которую сейчас издаю книгой, и в драматургии. «Точку, точку, запятую» или «В моей смерти прошу винить Клаву К.» я считаю вполне личными сценариями, за второй я даже сподобился Госпремии, что, впрочем, не принципиально. Что до стихов — мне Слуцкий как-то сказал: «Я ставил на

В Д Е С Я Т К У

тебя слишком много. Деньги и признание у тебя будут, слава — уже нет». Он, вероятно, прав, но я тогда уже не ощущал себя только поэтом...

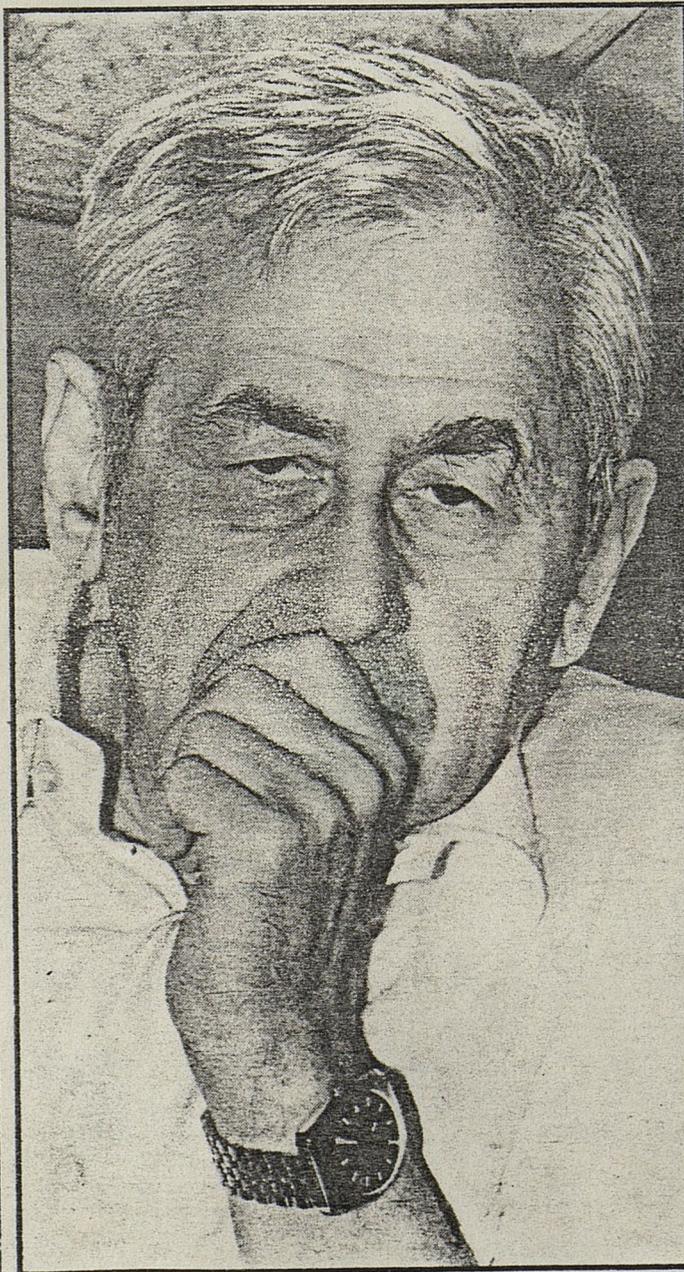
...Дело было не только в самоощущении Львовского. Евтушенко при знакомстве с Львовским наизусть прочел его ранние неопубликованные стихи, а Гудзенко на вопрос, откуда он знает столько стихов Львовского, ответил: «Я ведь в Москве живу!» Однажды, возвращаясь из радиокомитета, где работал в конце сороковых, Львовский увидел, что в его квартире, никогда не запиравшейся, растапливает печку молодой человек в очках. «Здравствуйте, — сказал молодой человек. — Я слышал о вас в Литинституте. Моя фамилия Мандель, я хочу почитать вам», — и читал всю ночь. Он стал известен потом как Наум Коржавин. Львовского знали все, а он добывал пропитание сочинением песен — «Заниматься мне гимнастикой не лень»... Стихи накапливались, залеживались. Время их на глазах проходило — нет, страшнее иронии нет все-таки ничего, какой бы мягкой и обаятельной она ни казалась нормальному читателю. Все можно стерпеть — ирония нестерпима.

— Когда вы говорите, что наше поколение могло взорвать систему, что война помешала нам все изменить, я думаю, вы недооцениваете нашу тогдашнюю убежденность. В лучшем случае умнейшие из нас — я думаю, молчаливый, таинственный Самойлов или умница Глазков — понимали порочность самой Идеи. А нам, остальным, потребовались годы и беды, чтобы осудить не только Сталина — мы понимали, кто он такой, хотя всего не знали, — но отказаться от коммунистической идеологии как она есть. Это общая черта шестидесятников, по моему. У раннего Слуцкого были стихи о том, как враги народа будут лизать лакированные ножки его стола — а он останется непреклонен. Он же учился на юриста. И сравните это с поздним Слуцким. Ему прозрение далось страшной ценой.

— А вам?
— А я все понял в 1949 году, когда

Вагончик тронется,

А ОН ОСТАНЕТСЯ



космополитизм оказался врагом номер один и перестало поощряться неарийское происхождение. Оно, впрочем, никогда не поощрялось, но уж тогда... У меня арестовали дядю, я по своей пионерской честности доложил об этом начальству радиокомитета. Мне пожали руку, поблагодарили, а вечером — уволили. И я на годы был вышиблен из жизни. Когда меня отлучили от работы во второй раз, я уже ничему не удивлялся. В 1962 году за пьесу «Друг детства» (это оттуда «Вагончики») меня растапывал Ильичев, тогдашний зав. идеологическим отделом ЦК КПСС. Пьеса была вполне невинная, но не по тем временам — об отцах и детях и, грубо говоря, о главном для меня — о желании так дальше жить. И до конца шестидесятых, пока я не перешел на детские сценарии, имя мое вычеркивалось отовсюду.

— И как вы жили?

— А что, обязательно быть «задействованным», простите, в системе? Я спокойно распрощался с нею и жил в системе собственной — стихи для себя, проза в стол, любимые люди, сохранение некоторого достоинства. Это выход для всякого ироничного человека. А я таков по сути своей. Традиционная аполитичность Львовского, как ни странно, властям была ненавистна больше, чем любая политизация. Страшен «левый», страшен «радикальный», но всего страшнее — независимый. Верный не знамени, а исключительно себе и своему назначению. Вот с таким человеком ужиться невозможно — но что с ним, с таким, сделаешь, если он уходит из-под любого контроля?

— Знаете... У советского сознания есть установка: счастлив тот, кто первый. Кто лидер. Кто всех обогнал и т. п. Впоследствии, когда Идея скомпрометировалась, это выродилось в другое соревнование — кто добыл, кто устроился, кто извернулся ловчее и все такое. А в шестидесятые годы до некоторых стало доходить: счастье не равно успеху. Можно быть счастливым, выйдя из борьбы и живя сообразно собственным представлениям о жизненном успехе. Я умудрялся снисходительно относиться к происходящему и не искать опоры вне себя. Поэтому, кстати, я и считаю себя удачником — я говорил, что хотел, и, кажется, высказался.

Дмитрий Быков.